

в чем-нибудь разрешающем и успокаивающем. Чего могут они ждать от Паскаля, который... восклицает: «Иисус будет в агонии до конца мира» и т. д. («Гефсиманская ночь»).

Эти слова Шестова о Паскале вполне применимы и к Шестову. Любопытную характеристику его мне пришлось прочесть не очень давно в «Руле», в рецензии Б. Каменецкого о первом сборнике «Окно»<sup>5</sup>: автор упрекал Шестова в том, что он «никуда не идет», что раздражает «его вечная праздность», что вообще «глубокой бесплодностью отличаются досуги его мыслей, и никак не поймешь, чего он собственно хочет... Когда приходишь к концу его страниц, то не знаешь, приобрел ли ты что-нибудь или нет, и не обогатил ли он только твой ум новыми недоумениями.

Это очень верно; и, думаю, сам Шестов не будет возражать против подобной характеристики. Да! «Бесплодность», «праздность», «ненужность»... «Ничего положительного...» «Одни недоумения...» В сущности, большинство читателей так именно и оценивает Шестова: блестящий писатель, но... где же выводы? Таково же, в конце концов, отношение наше к Паскалю и к Ницше: гениальные поэты, великолепные стилисты! При чем же тут, однако, философия?.. Шестов еще и подчеркивает: «Опыт о философии Паскаля...» Ведь всякий ученый знает, что философия есть систематическое мышление о мире!

Эти недоумения и раздражения — вполне понятны: нам удалось кое-как скрасить ужас бытия приятными снами, но вот приходит некто и мучает, будит, зовет... Куда? Зачем? Он и сам не может объяснить: ведь «объяснить» — значит вновь подпасть под власть «системы», логики и снова «уснуть». И все же, в призыве этом тайное очарование и смутный, но дивный обет.

## Г. Л. ЛОВЦКИЙ

### «Гефсиманская ночь» Льва Шестова.

### *La nuit des Gethsémani. Essai sur la philosophie de Pascal par Leon Chestov*

Среди многочисленной литературы, возникшей по случаю трехсотлетия со дня рождения Паскаля, особенное внимание и горячие похвалы французской критики вызвал этюд Льва Шестова, появившийся впервые на французском языке в прекрасном переводе Экземплярского.

В небольшой по объему книжке освещается трагедия философских исканий великого французского мыслителя и предпринимается попытка перекликнуться на расстоянии веков во тьме окружающей нас

ночи с родственным по устремлениям философом. И не только с Паскалем: собственный опыт Шестова как бы пропускается через души Ницше, Лютера, Тертуллиана, ап. Павла, пророка Исаии, и обогащаясь по пути новыми звучностями, он вырастает в мощную любимую тему Шестова о грехопадении.

Созвучие душ Паскаля и Шестова несомненное и оно выявлено с той остротой и тем дерзновением, к которым нас приучила мысль Шестова, не останавливающаяся ни перед какими логическими противоречиями, ни перед какими неприглаженностями.

Короткая жизнь Паскаля, в переизбытке наполненная болезнями и страданиями; отчаянная попытка примирить веру с разумом — вплоть до доказательства существования бога при помощи теории вероятностей; и объявление непримиримой войны тому же разуму, объявление войны «вечным» имматериальным истинам, богу Декарта, давшему толчок и пустившему в ход механизм вселенной, богу философов, с бесстрастностью автоматического начала воздающему за грехи — такова в кратких чертах история философских исканий Паскаля. Философ в нем победил ученого, и мы вместо законченного оправдания божества, вместо «Апологии христианства» получили хаотическую разрозненность его «Мыслей». Но что особенно роднит французского мыслителя с певцом «Апофеоза беспочвенности», это та пропасть, которую Паскаль видел возле себя и от притягательной силы которой он отгораживался до тех пор, пока не полюбил ее и не научился без содрогания заглядывать в ее бездонные дивные глубины.

Отверзлись вещие зеницы,  
Как у испуганной орлицы...<sup>1</sup>

Прислушаемся к Паскалю-Шестову, и они нам скажут, что мы, с такой болезненной чувствительностью реагирующие на повседневные мелочи жизни, потеряли чутье к самому важному: надо с себя стряхнуть сверхъестественную спячку ленивого плетения кружева мыслей по логическим законам, стряхнуть самыми нелепыми способами, хотя бы заклинаниями, чары того заколдованного царства, в тесных пределах которого мы движемся с жуткой уверенностью сознательных автоматов. Страшная опасность угрожает миру: если уснут и немногие «избранные», немногие «мученики», как уснул апостол Петр в великую памятную ночь, то все жертвы, все страдания «песка морей тяжелее»<sup>2</sup> были напрасны и смерть восторжествует окончательно и навсегда (160–161).

Сверхъестественный подвиг не под силу человеку повседневности, но тяжелое бремя, принимаемое на себя добровольно иль невольнo трагическим философом: бодрствовать и неусыпно бодрствовать за нас.

«Гефсиманская ночь» для Шестова, конечно, не поэтический образ, а символ нечеловеческих, сверхчеловеческих страданий, которые на себя принимает философ, добывая свою истину. Не оттого ли мы с такой легкостью прибегаем к какому-нибудь общему началу, не оттого ли мы ищем успокоительных объяснений, что хотим хотя бы в воображении связать распавшуюся связь времен? Недружелюбно смотрит традиционная философия на мыслителя, который нас беспрерывно тормозит, будит от сна в общем благоустроенном аристотелевском мире. Иным «печной горшок» попросту дороже этой непрерывной встряски человеческих душ; другие в такой степени озабочены приспособлением философии к текущему моменту, созданием прагматической идеологии, что не в состоянии раз навсегда отделить действенную силу этических, общественно-правовых норм от философских исканий, где мы являемся не действующими лицами, сознательно избирающими свою линию поведения, а подневольными участниками великой трагедии, разыгрывающейся на мировой арене. В повседневности мы слишком обращаем взоры долу и «бежим беззаботно к пропасти, предварительно поместив пред собой что-нибудь, чтобы не видеть ее» (Паскаль)<sup>3</sup>. Но философ трагедии как раз разрушает все преграды, которые в таком изобилии воздвигает наш изобретательный разум: «его страшит, но и привлекает вечное молчание бесконечных пространств», куда он, «жалкий мыслящий тростник», брошен, его тянут к себе бездонные глубины, и там, где повседневность ходит, ощупывая под собой на каждом шагу твердую почву, там он стремится вознестись и оторваться окончательно от прочных установок, от иллюзорных вечных истин. И он «ищет в муках страдания»...

Таков уж удел истины, сошедшей на землю, ставшей достоянием повседневности, на потребу всем — быть замученной грубыми всепонимающими руками, пасть жертвой какого-нибудь общего начала. В глазах философии обыденности высшая цель человека должна заключаться в подчинении законам разума и разумной морали. Паскаль, говорит Шестов, был одним из тех редких, загадочных избранников, которые почувствовали, что «покорность» есть начало всех ужасов земных, начало смерти. Закон пришел, и умножилось преступление, говорит ап. Павел; закон — это молот в руках Господа, сокрушающий естественную в человеке уверенность, что над живыми существами господствуют вечные, имматериальные, суверенные принципы. Закон пришел, когда человек, забыв повеление Господа, вкусил от плодов дерева познания добра и зла — от всех этих бесчисленных *puer, inertum impossibile*, на которых держится наша наука, наше знание. «Свет» знания приносит с собой человеку чувство его ограниченности. Пока не было «света», до грехопадения, все было возможно, все было «хорошо весьма»; были начала, но не было концов, и слово «необходи-

мость» имело также мало смысла, как теперь имеет слово «свобода». Свет познания приносит с собой стыд пред райской наготой и боязнь земной смерти. Все это невозможно объяснить людям. Всякое объяснение, всякая ясность и отчетливость в духе Декарта способствует появлению того, от чего надо освободиться и против чего надо бороться. Наш разум срывает покров со всех тайн, он нам только не показывает пропасти под нашими ногами (118–121).

Книжка Шестова богата напряжением значительного содержания и держит в таком же напряжении читателя, начиная с необыкновенного эпиграфа и кончая удивительным переплетением загадочных откровений философии Шестова с интимной мелодией Паскаля.

## **П. ГАЙДАМОВИЧ <Л. М. ДОБРОНРАВОВ>**

### **Письмо из Москвы. Маленький фельетон**

«Знаменитые в своем роде писатели Аросев и Коган протестовали против того, что на Международном Конгрессе писателей в Париже русскую литературу представляли Бунин, Куприн и Шестов...»<sup>1</sup>

«Дорогие товарищи, и пишу вам письмо, как есть мы литераторы, которые солидарные и очень даже хорошо понимаем, куда антанта заворачивает со своей окровавленной мордой и через это многие белогвардейцы очень даже нахальные.

Мы, всякие литераторы и ученые и которые даже с рабфаков ничем не можем терпеть такие фигли-мигли, как есть тут интрига и опять же международный капитал.

А мы находимся в полном расцвете и можем сами нос утереть, кому надо, а не то, что за нашу могучую литературу представлялись Бунин, Куприн или, скажем, Шестов. Этого зловредного Шестова я знаю! Он пишет — хоть мозги выкрутить — не понять. Но только нас не проведешь, потому мы сами кумекаем, которое клонящее к благу и которое не клонящее.

Скажем так: кто такой Бунин? Помещик. А Куприн? Офицер. Обои, стало быть, как есть чисто белогвардейцы и индифферентные до протарелиата и очень даже зловредные и мы это позволить никак не можем. Мало у нас что ли разных писателей? За себя я не говорю. Я не как Ванька Зудилин. Написал две поэмы и девчонок с толку сбивать, будто конструктивная его поэзия. А скажу за нашего Демьяна Бедного<sup>2</sup>. Вот бы ему в Париж, да басню бы там за Европу! Матом бы